

Нолана

ГЛАВА 7

НЕОБЫЧНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ НИНЫ Б.



Нина – дочь народа, чье происхождение туманно. Большинство считает, что словенцы попали в сердце Европы как часть великого племени славян; они оказались на гребне волны множественных переселений из-за Карпатских гор, говорят защитники этой теории, и нахально вторглись к строгим германцам, интриганам-римлянам и рассудительным гуннам, как клин, говорят защитники живучести славянских генов и в поэтическом порыве бьют себя в грудь, как клин, как авангард, понимаете. Другие, их оппоненты, утверждают, что речь идет о заговоре славянофилов; не может быть, говорят они, чтобы словенцы когда-нибудь имели что-либо общее с этими примитивными русскими и тем более с их прихвостнями. Где уж там! Этот народ самобытен, говорят они, он занимал свою нынешнюю территорию уже тогда, когда прообразы других народов, его сегодняшних соседей, будучи еще в зачаточном состоянии, только вылезали из Северного и Адриатического морей, и уже тогда он отстаивал свою сущность. И позже, когда вокруг него сомкнулось кольцо, угрожая *ad infinitum*¹, гордо жил этот нестигаемый народ, вежливо, но твердо оказывая им сопротивление; как скала, говорят защитники пра-сущности и утирают слезу умиления, как скала-камень-кость, понимаете. Так или иначе, народ Нины более тысячелетия или двух держался на одной территории, несколько раз сменив верховный политический порядок, перенял между тем кое-какие мелочи от соседей и преобразился в более или менее связанное сообщество индивидуумов, в большинстве своем не обременяющих себя вопросом, откуда они, пока им не нужно было отправляться в другие места.

Нина росла в семье, которая, согласно местным представлениям, считалась правильной, неконфликтной и достаточно типичной. Ее отец любил подчеркивать, что является настоящим словенцем, по памяти мог рассказать семейную родословную до пятого колена и в конце всегда добавлял, что кровь – ну никак – нельзя портить. Бедняга не знал, что чуть меньше ста лет назад появился один итальянский торговец овцами и через его бабушку создал генетическую аномалию в роду, при этом наверняка оставив в качестве компенсации какого-нибудь несчастного ягненка. Нинин отец родовую принадлежность на всякий случай облагородил типичными атрибутами: своим собственным Домом (две комнаты на каждого, двенадцать лет кредитов, четыре года без отпусков и свободных выходных, язва желудка), чувственным отношением к Автомобилю (ради кото-

¹ До бесконечности (лат.).



рого в отличие от жены и детей он Один себе во всем отказывал и Один на нем ездил) и политикой невмешательства по отношению к Соседям (в коллективном сознании это именуется Манеры). Нинина мама, приятная женщина, с полной нагрузкой в школьном образовании, с устойчивым критическим отношением к своей фигуре матроны, придерживалась принципа, что порядок в ее доме – это отражение ее самой. Когда гости уже в дверях (массивный дуб, оранжевый витраж) моментально снимали обувь, она с чувством восклицала, ах, ну, не надо разуваться, и одновременно предлагала им аккуратно сложенные тапочки. Ну, ну, Кристина, знаешь, мы разумеся, ведь у тебя так красиво и чисто, отвечали гости согласно протоколу, принятому почти в каждом Частном доме, возведенном на кредитах и язвах. Первая половина каждой субботы в доме Нины была отдана Генеральной уборке, проходившей в неизменной последовательности: полки – столы и раковины – пол (пылесос) – пол (тряпка). Отец, сам себе приписавший статус главы семьи, хотя право голоса жены и воспринимал как нечто само собой разумеющееся, в это время ускользал в сад, а перед обедом и на кружечку пива в ближайшее кафе, где под надзором еще незамужних официанток возглавлял цвет местных *patribus familias*² и божился, что дом должна контролировать только баба, ну, скажи, Мици, что это не так. У Нины и ее младшей сестры (существа с курносом веснушчатым носом и особым голосом с паническими нотками, но это было не выражением словенской сущности, а особенностью характера) были более или менее ограниченные обязанности, в первую очередь Хорошее поведение перед гостями и Прилежание в школе, за которое в конце учебного года сестры награждались самой крупной купюрой, бывшей в то время в употреблении, и получали совет По-умному использовать полученное (деньги, а не знания).

Каждое лето две недели каникул семья проводила на море, километров сто южнее постоянного места жительства. Жили в трейлере, принадлежащем конторе Нининого отца и стоявшем в кемпинге, приятно защищенном высокими соснами, откуда было всего-то шагов сто до ближайшего пляжа. Берег был не бог весть какой, более или менее скалистый, так что порежешь себе ступни и трижды наступишь на морского ежа, прежде чем поплывешь. Пляж устлан по-красневшими телами, старыми газетами и окурками, а в воде каждый день снова появлялась коричневая склизкая взвесь неопределенного происхождения, которую купающиеся дипломатично обходили стороной. В местном магазинчике молоко кончалось в полдесятого; за пластырем и кремом от солнечных ожогов надо было ехать в ближайший город. Официанты на бетонных террасах посиживали в тени, задумчиво пускали сигаретный дым навстречу горизонту, искоса меря взглядом гостей, которые жались у пластиковых столиков и с надеждой посматривали в их сторону. Но как бы то ни было, море было Наше. Наше. Ведь так редки были в жизни словенца ситуации, когда это слово звучало столь торжественно, особенно когда выносилась тарелка с нечищеными анчоусами и кружка теплого пива, с видом на солнце, которое, чрезмерно излучая краски, тонет в Кварнерском заливе. Будто понятие собственности они выдумали сами и сохранили его для мгновений полноты бытия, ограниченного рассчитанным на отдых семейным бюджетом. Нина и ее сестра для такого рода ощущений пространства были слишком малы, зато абсолютно счастливы, если солнце хоть сколько-нибудь светило и после ужина им удавалось добиться третьего шарика мороженого.

² Отцов семейств (лат.).

Самыми лучшими на море были немецкие туристы. У них были блестящие автомобили и до мяса облезлые спины, они всегда вели себя так, будто им неловко, и приглушенным голосом выговаривали странные слова, как *Entschuldigensiebitte*³. Нина и ее сестра тайком наблюдали за ними через заднее окно трейлера и мгновенно прятались, когда кто-либо из них смотрел в их сторону. Им никак не удавалось найти связь между немцами, о которых они слышали в школе (безжалостные, педантично воплощающие свои злодеяния пожиратели детей и т. д.), и немцами, которых они разглядывали из-за пластикового оконного стекла синего цвета (настоящий образец терпимости и безропотности, хотя море вообще было не Их, а просто Дешевым). Нина сама по себе пришла к выводу, что на море так или иначе все перевернуто с ног на голову: мороженое и арбуз доставались тебе без лишних вопросов, вставать можно было значительно позднее девяти, отцовский кошелек был полон Самых крупных купюр, бывших в употреблении, – поэтому ничего удивительного не было в том, что и немцы как миленькие стали каким-то *Ja, bitte*⁴. Как-то на пляже свое открытие она попыталась представить маме, которая лишь вздохнула – Ох, вот если бы и у нас было бы все так организовано в кемпинге – и перевернула следующую страницу детектива.

Кроме немцев, существовала еще одна разновидность людей. Местные. У большинства из них были темные волосы и цвет кожи, о котором Нинина мама могла только мечтать. Говорили они громко, смотрели прямо в глаза и все время пытались втянуть Нининого отца в разговор. Отец всегда находил какую-нибудь отговорку, а потом бурчал себе под нос, что хоть на отдыхе человека могли бы оставить в Покое. Дети местных выглядели старше других детей. Они ничего не боялись. Никогда ни перед кем не извинялись. Если замечали, что ты на них смотришь, говорили Чо пялишься, придурок. С самых высоких скал они прыгали вниз головой и уходили под воду на пять, десять метров в глубину. Нина была слишком застенчива, чтоб попробовать приблизиться к ним. Так что ее отец мог в Покое читать газету без необходимости увещевать (в соответствии с возрастом Нины), как следует ценить Другие культуры, но все-таки помнить, что речь идет о Других культурах.

Такова была первая встреча Нины с проблемами идентичности, произошедшая гораздо раньше, чем она вообще узнала, что это слово значит. Графически (в соответствии с возрастом Нины) это можно было бы изобразить так:

НЕМЕЦКИЕ ТУРИСТЫ	МЫ	МЕСТНЫЕ
красные	между	коричневые
вежливые	между	невежливые
тихие	между	громкие
Культура	?	Другая культура

Обобщая, можно было бы сказать, что идентичность подобна незаметной части тела: пока с ней все в порядке, ты даже не знаешь, что она у тебя есть. Так и Нина некоторое время мирно росла без каких-либо помех, разве что родители периодически обращали ее внимание на то, что Образование отделяет нас от дикарей и совершенно все равно, что о тебе думают Соседи (тут нечего объяснять, просто это Так). Потом она достигла того возраста, когда личное уже так или иначе становится политикой, а чтобы для этого действительно иметь основание, к ней на помощь по-

³ Entschuldigen Sie, bitte. – Извините, пожалуйста (нем.).

⁴ Да, пожалуйста (нем.).

доспела еще и История. В то время ее народ, воодушевленный различными оттенками революций, прочесывающих, словно частый гребень, вшивую голову Европы, решил, что пресытился верховными политическими порядками раз и навсегда. В течение ночи (каковую Нина частично пережила в объятиях некоего Дамиана, с которым почти дошла До конца в комнатке у друга дома – родители Друга тогда были на Нашем море) он провозгласил самостоятельность, вывесил флаг и послал общественности десятки лозунгов о Малом народе, наконец-то ставшем Большим. Следующим утром Нина проснулась в огненном фонтане патриотических страстей, что, столетиями тлея под покровом вынужденного молчания, торопились утвердить Словенца на всей палитре исключительно благородных качеств, от конструктивной непокорности через справедливость к сердечности и доброте, не знающей границ, но прежде всего – на Гордости, возвышающейся над всем вместе взятым подобно триумфальной арке и, если можно верить самым восторженным ораторам, пробивающейся в каждом словенском зародыше как часть генетической основы. И в первую очередь, подытоживалось, мы, Словенцы, – не Балканцы. Хотя уже некоторое время Нина замечала разницу между Истиной и Манерами и не соглашалась с тем, что некоторых правил следует придерживаться только потому, что они Есть, при том, что многим они скорее мешают, чем помогают, такого рода идентичность была чем-то, что было весьма легко надевать и удобно носить.

Тем же летом Нина с родителями – разрешение впервые провести лето с друзьями было, впредь до окончательной отмены, отложено – пережила несколько недель на берегу моря, которое уже с трудом в последний раз можно было назвать Нашим. Дело в том, что и народ километров сто южнее успел вскочить в революционный поезд и в течение той же ночи провозгласил самостоятельность, вывесил флаг и послал общественности лозунги, как две капли воды похожие на те, что гудели по всей Словении. Лишь параноидальность международной общественности и ее Определенные интересы следовало благодарить за то, что семье Б. во время отдыха не потребовалось заграничных паспортов и полных карманов конвертируемой валюты, которую бы они по выгодному уличному курсу поменяли на местную. Молодые хорваты, с которыми Нина уже днем позже лежала на пляже, а в сумерках в укромных уголках опрокидывала бутылку водки одну на всех, себя и своих предков определяли почти теми же характеристиками, как и Словенцы, – да, они были непокорны, справедливы, сердечны и добры, конечно, у них была гордость, и прежде всего они не были Балканцами. После нескольких глотков Нине казалось, что все поголовно братья и сестры, принадлежащие избранному племени, равного которому в мире нет. Через несколько дней она начала «ходить» с интересным Осиечанином⁵, у которого были исключительные зеленые глаза, пока вызревали их отношения, и который был вообще Действительно в порядке. Однажды ночью они вдвоем затерялись на скалистом берегу и уже на самом деле дошли До конца. Нина утаила, что для нее это впервые, а ее любовник об этом никогда не узнал. (Нина еще долгие годы с ностальгией вспоминала о той ночи и несколько раз почти написала письмо, которое начиналось с Знаешь, Томислав, но в результате оно навсегда осталось лишь в мыслях.) Находила ли она хоть сколько-нибудь необычным то, что не дождалась кого-либо из Своих (ведь первые – это только Первые), – ха, в этом пункте многолетние отцовские старания по сохранению Крови были окончательно перечеркнуты. Но все-таки это было особенное лето, запомнившееся

⁵ Житель Осиека, четвертого по величине города Хорватии.

многим и более искушенным, да и большинство Нининых одноклассниц наверняка поступило бы так же, если бы им повстречался кто-то Действительно в порядке.

Последовавшая за тем осень принесла с собой время отрезвления как для Нины (опять школа, опять Субботние уборки, опять одиночество), так и для словенцев, вынужденных после столь феерического начала куда-нибудь двинуться. Вдруг оказалось, что за границу вообще не интересуется словенская непокорность, доброта и сердечность, что словенскому благородству она недостаточно доверяет и что горделивость подобного, если не лучшего качества она уже видела не раз. Заграница Словений не интересовалась даже настолько, чтобы просто захотеть поискать ее на карте. Независимость и суверенитет (тем более героическая история) вдруг больше не упоминались. Вместо них появились такие понятия, как Узнаваемость, Развитие, Связи, а особенно Европа, ставшая синонимом всего хорошего и благородного и как таковая предлагавшая нишу на рынке каждому словенцу, не желающему заниматься политикой. Для одних она была более передовая, деятельная и справедливая, для других – более нравственная и христианская, для третьих – более здоровая и экологичная. Как бы ты ни приглядывался, Европа была Лучше. Она была подобна хвостику наивного щенка: ты мог к ней немного приблизиться, но поймать ее не мог никогда. К счастью, существовали народы с подобной судьбой, обобщенно именуемые Восток, над которыми словенцы смеялись так, как дозволено лишь тем, кто сам побывал в их шкуре. Ниже всех, конечно, котирировались Балканы, которые в кровавых историях, происходивших в их недрах, стали еще более отсталыми, еще более примитивными, еще более нездоровыми. Если тебя определяли как Балканца, тебе оставалось лишь одно: встать в угол и долго и страстно бичевать себя. По крайней мере, так было видно с Нининой перспективы семнадцати лет, еще не обремененной опытом (как большинство перспектив схожего возраста) и благодаря этому слишком восприимчивой к оттенкам серого, чтобы испытывать действительные затруднения с определением своего золотого сечения. Это было, как и прежде, – Между. Ни то ни се. Ни мышонок, ни лягушка, как после стаканчика настойки меланхолично вздохнул Нинин дядька, повидавший мир и от груза знаний получивший цирроз печени. Словенец мог себя идентифицировать лишь, если ставил себя рядом с кем-то еще, не забыв при этом встать на цыпочки и выдвинуть грудь вперед. Если он стоял один-одинешенек, его не было. Он становился заводской штамповкой без изъянов и отличительных признаков. Заменяемым. Дискретным, так сказать минималистским. Сказать прямо – Маленьким, что со временем все чаще повторяли и политики, до вчерашнего дня увенчанные Гордостью, Честью и Славой.

Когда для Нины наконец настал долгожданный час и она могла выглянуть за пределы своей собственной страны без ограничений, с собственным паспортом и без надзора родителей, она восприняла Европу с надлежащей скромностью и нижайшим почтением. К каждому ее жителю она была, так сказать, готова обращаться на Вы, даже если это было сопливое дите, копающееся в песочнице. Была готова извиняться, если бы кто-то при упоминании, откуда она, в ужасе прикрыл глаза. Но ничего такого не произошло. Уже в Риме, где она впервые в жизни переночевала в хостеле, к ней привязался разговорчивый француз и живо интересовался, откуда она приехала, что делает и так далее. Полночи она объясняла ему, где именно на карте лежит Словения, как выглядит и что она не имеет ничего общего с войной, а француз в это время воодушевленно кивал, то здесь, то там вставлял замечания

на слабом английском и сосредоточенно пялился в декольте ее маечки, куда, казалось, от чистого сердца хотел бы приложить и руку. Нина не была «за», однако все равно лед тронулся. Каждый день дела шли все лучше и лучше. Нина болтала с немцами, заигрывала с итальянцами, поднимала бокалы со скандинавами, что-то долго обсуждала с англичанами, делила купе и сидячие места с голландцами, испанцами, ирландцами. Почти все говорили, что она – первая словенка, с которой они познакомились, и никому не казалось, что из-за этого она какая-то не такая. С разными оттенками кожи и произношения – они были одинаковы. Их желания и цели были похожи, их заботили одинаковые вещи. Никто точно не знал, что он будет делать после получения диплома, все представляли себе будущее как-то неопределенно, а вечерами пересчитывали мелочь в надежде, что смогут позволить себе еще одно пиво. Для идентичности Нины Б. все это стало переломным событием. По возвращении ее представления были перевернуты с ног на голову. Так, как это часто происходит с людьми и с вещами, меняющимися слишком медленно, чтобы это вообще можно было называть изменением, только через месяц отсутствия она определила, что в течение всех этих лет все стало другим. Словенцы вдруг стали выглядеть придирчивыми, мелочными и несколько запуганными. Свои Дома они убирали лучше, чем это на самом деле было нужно. Свои Манеры – улучшали чрезмерно, усматривая в этом какую-то практическую пользу. Их Европа была обманом, проекцией без основания. Ее хорошей стороной было то, что она была совершенной. Ее плохой стороной было то, что она не существовала. Но особенно интересно было наблюдать, как словенцы освоили свой Малый размер. То, что на первый взгляд было подобно проклятию, на самом-то деле звучало как отговорка. Если бы... – говорили политики, экономисты и художники, если бы... но что ж поделать, если мы, Маленькие. При этом Нина всегда вспоминала, как здорово было, когда ее повсюду звали словенкой, именно потому, что она была единственной. Немцев, итальянцев или французов было сколько хочешь в стокилограммовых упаковках, словенцы же столь редкими, что их можно было коллекционировать, как древнеримские монеты или марки с изъянами. Так, одной восхитительной летней ночью Нина решила окончательно определить свою идентичность как Редкость. Малочисленность. Экзотичность – для тех, кому по душе образные выражения. Принцип был весьма прост и легко запоминался, но главное – тебе не нужно было ни с кем себя сравнивать. Ты был похож на других, но только несколько реже встречающимся, что автоматически добавляло тебе ценности. По крайней мере, Нине Б. От своей необычной идентичности она больше не отказывалась, более того, позволила ей крепко осесть в подсознании, на дискретное место незаметной части тела. О ней она вспоминала лишь в особых случаях, например, тогда, когда новый политический порядок Европы в конце концов поддался, пригласив Словению под свое крыло. Этому моменту вновь сопутствовали флаги, гимн и отдающие нафталином лозунги о Клине, Самобытности, Гордости и, конечно, о Малом народе, который еще раз подтвердил, насколько, собственно, он Велик. Нина с бутылкой пива в руке сидела перед телевизором и про себя посмеивалась. Давайте, подумала она. Давайте. Но на меня не рассчитывайте.

Потом она инстинктивно осмотрелась, будто боялась, что ее мог кто-нибудь услышать, и засмеялась в сжатый кулачок.



Андрей
БЛАЗЖУК

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГИТАРА

Скрытый в сумерках мальчик снова и снова пытается подобрать на баяне ту несчастную мелодию. Не получается. Ни один звук не согласуется с предыдущим, то он нажмет клавишу слишком низко, то слишком высоко, и всегда из мехов вырывается мучительный диссонанс. Собственно, у мальчишки не очень-то хорошо со слухом, он же чувствует все сильнее и сильнее, что его цель – точно сыгранный мотив – недосягаема, а время, когда вернется отец и потребует, чтобы он его сыграл, неотвратимо близится.

Ночь спускается на него подобно влажной тряпке. Ноты, густо рассыпанные по бумаге, уже начинают сливаться, затем совсем пропадают в темноте. Свет мальчик не включает, ведь темнота приносит облегчение; страшно было смотреть на свои собственные пальцы, как они, беспомощные и растерянные, бродят по клавиатуре.

Сейчас он их уже только слышит. Не неуклюжую и ускользающую мелодию, а только свои собственные пальцы, которые не желают его слушаться. Мальчик знает, что опять не сможет объяснить отцу – виноват не он, а пальцы. Чем больше он будет объяснять, как старался вникнуть в тайны этого напева до самого конца, тем больше будет путаться, и отцу станет все ясно – собственно и сейчас мальчишка не знает наверняка, что означают некоторые значки на нотном листе, и то один, то другой даже пропустит. Отец терпеливо будет слушать, как он это делает всегда, и уже начнет вынимать ремень из брюк. А потом скажет: ну-ка, сын мой, сыграй еще раз.

И мальчик заиграет еще раз, и мелодия еще больше будет хромать, так как пальцы начнут оставлять влагу на клавишах, а потом весело поскользнется. И отец будет слушать и гладить свой кожаный ремень, и потом скажет: сынок, отложи баян. Мальчик представляет себе то, что должно произойти, и на глаза наворачиваются слезы. Хуже всего то, что он любит музыку. Когда вечером он ложится в постель, он зажмуривается и представляет, что он – это тот ребенок в белом костюме с бабочкой, которого показывают по телевизору, как на сцене зала консерватории он держит скрипку и кланяется, а слушатели восторженно ему аплодируют. Но в действительности все по-другому: единственный его слушатель – отец, и тот не аплодирует от восторга.

Мальчик знает, в чем причина, он знает, почему никак не может найти нужные звуки. Его приворожила электрическая гитара. Которая повсюду. У которой есть все правильные звуки, и ни одного из них она не оставила его баяну. Которая

влезла к нему в голову и наполнила ее равномерным шумом, которая не выносит конкурентов. Именно поэтому его разрозненные звуки не могут слиться в мелодию. Ведь им не позволяет этого электрическая гитара. Которая никогда не ошибается. Это он тоже видел по телевизору. Видел, как все началось. Где-то далеко, в Африке, черт заиграл на гитаре и заколдовал ее так, что на ней не мог играть никто другой, кроме ее владельца. Всех других поражало громом. Сжигало, испепеляло. Они исчезали. И поэтому гитары опасны. Электрическая, самая сильная из них, еще опаснее. Если, конечно, она не предназначена для тебя, только тогда.

Мальчик думает: если бы у него была электрическая гитара, настоящая, тогда б он смог. Она предназначалась бы для него, и он смог бы заиграть без единой ошибки. И отец не вынул бы ремень из брюк, а протянул бы к нему руки и привлек к себе, и сказал, что гордится им. И слушатели бы аплодировали, а он бы поправил свою бабочку, прижал скрипку к белому костюму и ушел со сцены, назад в свою комнату, где его ждут игрушки, на которых, пока он разочарованно прокладывает себе путь через белые и черные клавиши, не переставая, собирается пыль. И потом он отложил бы скрипку и играл с ними. С облезлым медвежонком, к которому мама приколола листочек, где написала, что уходит, но очень скоро придет за ним – сразу же – и что она его любит. И с куклой Барби, которую забыла сестренка, когда мама взяла ее с собой, хотя именно с ней и ни с кем другим та могла так долго разговаривать. И с другими игрушками, со многими другими, которых у него пока еще нет.

Мальчик знает: это сон. Все эти мысли, вместе с которыми проходит время с баяном в руках, пусты. Единственное, что реально, это две скрипящих коробки и лист на пюпитре, на котором нельзя разобрать мелодии. И электрическая гитара в его голове. Которая знает все мелодии и для которой открыты все дороги.

Мальчик спрашивает себя: как отец угадал, что электрическая гитара так опасна? Как он узнал, что ее нельзя ему покупать, когда он его просил? Как он узнал, что из нее будет вырываться огонь, если она попадет мальчишке в руки? Он сказал, что на этом баяне играл он, и его отец, и его дед, и что не будет гитары в этом доме. Он имел в виду – в этой комнате, ведь они живут в комнате, а не в доме, но мальчик его понял. И удивился. Да, отец знает музыку, он приносит ему новые и новые нотные листы и кладет их поверх прежних, корпеть над которыми его сын уже изнемог. Но знает ли он тайну электрической гитары, которая скрыта ото всех и лишь ему, мальчишке, открылась? Да, однажды он рассказал друзьям о том, как электрическая гитара может оживлять мертвых и сотрясать живых так, что в них не остается больше ни капли жизни. Они только хихикали и перемигивались. Когда же он замолчал и отошел, они шептались за его спиной о том, что его долбануло. Да-да, он отчетливо слышал: долбануло. Но ведь его ничто и никогда не долбало, ничто и никто, кроме отца. Он понимал, что это значит: они думали, он не в своем уме. Что с ним не все в порядке. Мальчик сжимал кулаки и молчал.

И думал про себя: если бы у него была электрическая гитара, он бы им показал. Они думают, что электрическая гитара лишь предмет, из которого те, кто умеет, извлекают звуки. И что эти звуки лишь то, чем кажутся: простые звуки. Что они понимают! Они не знают, что у электрической гитары есть свое настроение, своя жизнь, и что с ней ты должен быть осторожен. Очень осторожен.

Мальчик смотрит на баян в своих руках, на этот холодный, мертвый предмет, который тяжело выдыхает из себя безликие звуки. Как он его достал, бросил бы

его на пол и прыгнул сверху! Может быть, это бы изменило его. Хотя из баяна никогда не выйдет электрической гитары. Как и из него самого, мальчик это знает, никогда не выйдет того ребенка в белом костюме с бабочкой, который на сцене зала консерватории держит в руке скрипку и кланяется, а слушатели восторженно ему аплодируют. Так и из отцовского ремня никогда не выйдет маминого сладкого пирога, который она пекла каждое воскресенье до тех пор, пока отец еще отпускал ее из дома, чтобы она могла купить что-то для выпечки.

Мальчик снова и снова подбирает все ту же неясную мелодию. Не идет, не идет. Клавиатура убегает от него, и мальчик знает, что он ее не одолеет. Где-то в уголке – в уголке комнаты, в уголке его головы, в уголке космоса – его стережет электрическая гитара.

Электричество дает силу всем вещам, ничего удивительного, что без него мальчик ничего не сможет. Без электричества больше нет музыки. Ничего удивительного, что мелодии раскрошены и пальцы заплетаются. Ему была бы нужна электрическая гитара, думает мальчик. Или хотя бы электричество. Оно дает силу вещам.

Мальчик внимательно прислушивается к тишине лестницы. Пока не слышно приближающихся твердых шагов его отца, но это продлится еще недолго, и он придет. Мальчик знает, что отцовский гнев растет, знает, что он уже давно слишком велик для него. Мальчишке плохо, ведь он знает, что отец его любит, и чувствует, как велико должно быть его разочарование, когда он вновь и вновь слушает эти безнадежные поиски мелодии. Мальчик вспоминает, что раньше отец часто брал его с собой, когда уходил из дома, и что потом они вдвоем часами ходили по городским улицам и ничего больше не делали, и что было так хорошо, когда отец обнимал его за плечи. Только однажды, когда они с отцом пришли домой, больше не было ни мамы, ни сестренки, а только облезлый медвежонок и кукла Барби. И листочек, где было написано, что мама сразу же придет. Но она не пришла. Ни сразу, ни позднее, хотя он ждал.

Отец ему объяснил, что мама и сестренка ушли потому, что женщины не знают, что такое долг, и что они двое теперь должны идти по жизни одни. Но мальчишке казалось, что все равно они могли остаться там, где жили раньше, а не переселяться в другой город, в котором отец отправил его в новую школу. И на дверях теперь было другое имя. И его самого отец теперь называл другим именем, которое ему вообще не нравилось, не то что прежнее, хотя прежнее он уже забыл. Там, где они были раньше, квартира была больше и люди были приветливее. Часто кто-нибудь спрашивал его о маме, куда она пошла, и передавал ей привет. Сейчас не было никаких приветов, и никто не знал, что у него вообще есть мама.

Мальчик понимает, что мелодия не находит, никак не находит выхода из баяна. Нет, без электричества не выйдет. Надо помочь мелодии, заключенная в тесных мехах, она не может чувствовать себя по-настоящему хорошо, она хочет наружу, думает мальчик. Да, электричество; без электричества она не сможет освободиться.

В шкафу, где отец прячет инструмент, мальчик ищет электрический кабель. Он долго вертит в руках баян, но нигде не находит подходящего разъема. Сначала он за это винит темноту, но, наконец, понимает, что делает что-то неправильно: кабель нужно приладить, присоединить к баяну, и тогда ошибки не будет. Ножом, который он хранит под подушкой на тот случай, если вдруг еще когда-нибудь придет тот черный человек, который иногда по ночам склонялся над ним и дышал на него своим горячим дыханием так, что мальчик кричал, и кричал, и кричал...

Этим ножом он перерезает кабель на том конце, который не втыкается в стену, и оголяет каждую проволочку отдельно. Затем на ощупь прикрепляет проволоки к верху баяна, пока, наконец, ему не кажется, что все соединено и все готово.

Когда втыкает вилку в розетку на стене, он слышит шум на лестнице. Да, это отец возвращается домой. Сейчас он наступает на каждую ступеньку, затем будет долго-долго пытаться вставить ключ в замочную скважину; потом он отопрет замок, откроет дверь и войдет. Мальчик знает, что его ждет, и это его парализует: он забывает о баяне, забывает о нотных листах, разложенных на пюпитре, забывает о супе из пакетика, который он должен был бы сейчас высыпать в кипящую воду, ведь отец захочет поесть, когда придет домой.

Он забился в проем между шкафом и стеной, туда, куда ставит баян, и надеется, что все обойдется, как обходится иногда, когда у отца нет сил для прослушивания его игры, что он доберется до постели и заснет, даже не стянув ботинки с ног. И мальчишке останется только лишь аккуратно их с него снять.

Отец входит в комнату. Что-то бормочет себе под нос. Наталкивается на стол, сбивает стул так, что тот переворачивается и с грохотом падает на пол. Мальчик забивается еще глубже в проем у стены, в глубину, из которой, надеется мальчик, отец не сможет его достать. Ведь если он его достанет, то потом, мальчик знает, потом будет плохо, потом уже все не так быстро кончится.

Хотя комната проросла мраком, отец замечает лежащий на полу баян. Бурчит что-то очень короткое и наклоняется к нему, чтобы поднять, но когда он берет его в руки, начинает сильно трястись, откидывает голову назад, танцует в необычном ритме, и это длится и длится. Затем баян выскальзывает у него из рук. Когда он ударился об пол, меха хрипло застонали, а отец сел около него. Из рта у него потекла слюна.

Мальчик ждет. Сцена ему противна, отвратительна, но он видит ее не в первый раз. Мальчик думает о том, что в этот раз отец просто не дошел до постели. И это тоже уже не в первый раз – не всегда ему это удается. Тогда и ботинки не нужно снимать, ведь так отец не испачкает постель.

Отец долго не шевелится. Мальчик думает, что же ему делать. Обычно отец через некоторое время начинает храпеть, что-то бормотать, вскрикивать. А сейчас ничего. Ничего. Не шелохнется. Мальчик начинает понимать, что сейчас все по-другому. И сейчас он не знает, что делать.

Наконец он вылезает из своего убежища, выдергивает кабель и прячет его обратно в шкаф. Отец всегда ему говорит, что надо убирать за собой, иначе ты зарастешь грязью и пылью, убираться нужно, убираться, стереть грязь и пыль. И долго-долго он стирает с его тела пыль до тех пор, пока мальчик не начинает дрожать под струей холодной воды, ведь теплая уже давно кончилась. А потом отец берет его на руки и относит в постель, и рукой прикрывает ему глаза, и потом мальчик чувствует, что отец долго-долго смотрит на него. И мальчик знает, что отец желает ему спокойной ночи и прекрасных снов, чтобы не было никакого черного человека и никакого горячего дыхания на щеке.

Мальчик долго-долго смотрит на отца, но отец все еще не шевелится. Мальчик думает. Так не может быть всегда, думает он. В конце концов, он берет ключ из нагрудного кармана отца. Хотя иногда отец подолгу не может найти замочную скважину, он всегда быстро и аккуратно убирает ключи на место. Всегда. Мальчик уже пробовал открыть дверь, когда был дома один, открыть дверь и уйти в

Африку за гитарой, но никогда, никогда не добирался до ключей. А окна были высоко, у него начинала кружиться голова, когда он смотрел сквозь них, внизу была бездна, которой не было конца.

Мальчик стоит на лестнице, медлит. У него сжимается сердце, ведь уже очень темно, даже если бы был день, мальчик не знает дороги. Ни одной дороги он не знает, всегда его сопровождает отец, когда нужно выйти из дома, в школу. Однако мальчик знает, выбора у него нет. Есть одна-единственная возможность: он должен поискать маму. Он спросит на углу, может, кто-нибудь ее знает. Он помнит ее имя, часто повторяет его, с тех самых пор, как она ушла и оставила тот листочек. Кто-нибудь ведь должен ее знать. Если не на этом углу, то на следующем, или на следующем, за каждым ведь есть еще один. Раньше или позже он придет к ней. Он знает: он должен. Он должен прийти к маме. Она знает, как быть дальше, она скажет ему, что произошло. И возможно, возможно, он уговорит ее купить ему электрическую гитару.

Перевод Юлии Созиной



Лойзе
КОВАЧИЧ

ИСТОРИЯ ПРО ДВУХГОЛОВОГО СЫНА

Жила-была когда-то бедная батрачка Ерца, и влюбилась она в красавца Янчи, как то раз увидев его издалека. Но каждый вечер ей приходилось ложиться на сено со своим хозяином, страшным Лапом, и однажды ночью при свече, заткнув себе рот платком, чтобы не было слышно в доме, она родила двухголового младенца. Бедняжка, ей пришлось кормить его сразу из обеих грудей, правой и левой, и она не знала, что ей и делать. Она надеялась на то, что Бог возьмет несчастного к себе, но когда этого не случилось, она успокоилась, говоря себе, что, должно быть, и в небесах бывают двуглавые ангелы, раз уж они появляются на земле. Потом однажды ночью она оставила своего страшного ребенка в саду, чтобы тот замерз, но поутру он как ни в чем не бывало плакал в оба горла и казался еще здоровее от свежего воздуха. Потом она влила в оба рта страшную отраву, от которой дохли даже волки. Но с ребенком не приключилось ничего, кроме желудочных колик. Батрачка Ерца потеряла терпение и однажды выбросила ребенка из своей каморки в ручей, но именно тогда мимо проезжал воз с сеном, ребенок, упав на мягкую подстилку, блаженно раскрыл все свои четыре невинных глаза. В конце концов Ерца смирилась перед Божьей волей, пути которой нам остаются по большей части неисповедимыми. Священник Игнаций окрестил ребенка Янезом в память Св. Иоанна Крестителя, и Янез начал расти не по дням, а по часам. Чем взрослее он становился, тем больше различались его головы. У правого Янеза были нежные черты лица, голубые глаза, светлые во-

лосы, как у Янчи из соседней деревни, говорил он по робости своей необычно мало, но зато часто улыбался. У левого волосы потемнели, посмуглела и его кожа, глаза сверкали, он становился жестким и агрессивным, как хозяин Лап, и не допускал, чтобы им кто-нибудь командовал. Принадлежавшая ему левая рука часто давала оплеухи правому Янезу, который только склонял голову и говорил: «Прощаю тебе».

Ни тому ни другому не нравилось, что им приходилось носить одну и ту же одежду, поскольку вкусы их совершенно не совпадали. Поэтому, воспользовавшись единственной возможностью, которая им еще оставалась, чтобы подчеркнуть свои различия, они носили разные головные уборы. Правый выбрал себе романтическую широкополую шляпу, а левый – никуда не годную ямщицкую барсучью шапку, из-под которой, как козий хвост, торчал его черный чуб. Люди быстро поняли, что хотя у Янеза и одно тело, но его составляют две совершенно разные личности, и его невозможно воспринимать или вести себя с ним так, как будто это один человек. Правый, воспитанный, всегда раскланивался и снимал шляпу, когда встречал дам, служанок и священников, левый смотрел сквозь них, как сквозь воздух, всегда их толкал, потому что они не заслуживали в его глазах ни малейшего внимания; они казались ему еще менее достойными внимания, чем Богу человечки на картинках ярмарочных художников, где на самой низкой ступени перед Всевышним стоят император и папа, а на самой высокой – нищие и сироты.

Отношения между обеими головами были весьма напряженными. Правый постоянно воспитывал левого и поскольку от природы был скромным и послушным, то всегда говорил «да, мама». Когда они были еще маленькими, Ера, которой так и не удалось избавиться от несчастного, приучала их к вечерней молитве. Светловолосый ее слушался и читал молитву, в то время как черноволосый с большим удовольствием играл в это время со своим маленьким. Добрый Янез ловил правой рукой бабочек, которые казались ему верхом совершенства среди божьих творений, а некоторые – даже больше, чем отличными энтомологическими экземплярами, но злобный Янез каждый раз тут же вырывал их у него из рук и давил на щеке своего близнеца.

Их политические пристрастия также различались. Злобный Янез был уверен в том, что необходимо повесить всех бедняков и крестьян или сжечь их живьем, как и в том, что они не имеют права спать со своими женами и дочерьми.

Добрый Янез, у которого были передовые идеи, мечтал о таком порядке в мире, при котором каждый уважал бы различия, полученные в наследство от Бога и истории. Будучи философом, он окрестил свою идею «сладкой утопией» и предсказывал, что в конце некой всемирной перестройки левые и правые сами покончат с собой и зло таким образом навсегда исчезнет с лица земли.

Оба терпели страшные мучения, поскольку при всем различии своих телесных потребностей не могли оторваться друг от друга. Правый постился и каялся, в то время как левый без тени стыда и смущения набивал себе брюхо всем, что только видели его глаза, и предавался всем удовольствиям, кроме удовольствий духа. И тогда, когда черноволосый Янез, тяжело вздыхая и сопя, спал, светловолосый не мог сомкнуть глаз, поскольку после столь обильной и нездоровой пищи он страшно мучился животом.

Когда левый был виноват в какой-нибудь каверзе, хотя правый и предупреждал его, оба они были вынуждены сносить от матери удары плеткой из воловьей кожи, которые, конечно, предназначались левому, но телесно доставались обоим.

Но самое страшное началось тогда, когда разнузданный Янез стал ходить к Тевже, неотесанной шлюхе из соседней деревни, в руки которой попадали и те небольшие деньги, которые скромный Янез, во всем себя ограничивая, копил, чтобы купить матери луковицы тюльпанов.

Ночами, когда мрачный Янез предавался чувственной любви, добрый Янез в отчаянии плакал, закрывал глаза и пытался не чувствовать ничего того, что происходило, но при этом не мог избавиться от подозрения, что у них с братом общая душа.

В конце концов, во время этих свиданий любви из уст доброго Янеза тоже вырвался крик экстаза, совершенно против его воли, нарушая душевное спокойствие, которое имело для него большее значение, чем все остальное на свете.

Но он никогда не жаловался на то, что его развращали, никогда ни словечка не сказал матери о том, как левый близнец заставлял его вечером украдкой покидать дом и пробираться к Тевже, что всякий раз еще более усугубляло муки его невинности.

В то время, как Тевжа и мрачный Янез насиловали природу духа и оскверняли все то, что люди не смеют предавать поруганию, в то время, как они проделывали то, чем занимаются лишь ведьмы с чертом на самом дне мира, светловолосый Янез уже наперед видел, что случится с ним на том свете, и в момент страшного восторга, от которого он не мог себя оградить, у него перед глазами стояло видение ада, и он с горячей готовностью чувствовал, как будут впиваться в него огненные вилы, как черти вновь и вновь будут пронзать ими его тело, чтобы вечно насмехаться над его грехами.

Из страха он осыпал Тевжу самыми страшными угрозами, но она только смеялась над ним, предаваясь наслаждениям в своих грехах.

Позднее правый Янез попытался очистить свое тело от греха, подвергнув его мучениям. Утаив от левого, что он собирается сделать, он одним махом проткнул себе живот длинной спицей матери, да с такой силой, что другой при этом не мог его удержать.

Мрачный Янез застонал, извлек спицу и, придя в бешенство, стал колотить брата, а потом в слепой злобе ухватил его за шею и задушил.

Голова светловолосого Янеза безжизненно склонилась на грудь, и черноволосый только тогда понял, какую страшную штуку он выкинул, задушив своего близнеца.

Впервые в своей раздвоенной жизни он расплакался не от того, что его отлупила мать. Он нежно взял в руки бездыханную голову брата, гладил и ласкал ее, растерянно повторяя: «Ну, притворщик, ведь ты же только прикидываешься, ведь так?..»

Но глаза другого лишь смотрели на него остекленевшим взглядом. Черноволосый взял голову обеими руками, которые наконец-то теперь слушались только его, и запел жалобную колыбельную, закрывая глаза брату своего Я.

Спустя несколько мгновений, когда смерть первого дошла до их единственного общего сердца, умер и он, проглотив при этом свое последнее проклятие, уже вертевшееся у него на языке, хотя его брат уже не мог ни услышать его, ни прийти от этого в отчаяние.



Мойца
КУМЕРДЕИ

ПЕЧЕНОЧНИК

Знай я обо всем заранее, я бы никогда не подписал этого документа. Ведь в качестве специалиста по жизни – а биология есть не что иное, как наука о жизни – я очень мало занимался проблемами посмертного существования и вообще не позволял себе рассуждать на эту тему, разве что в какой-нибудь веселой компании, дабы посмешить присутствующих.

Меня интересовал живой организм, а то, что происходит с ним после отказа его жизненных функций, когда из-за распада начинается процесс превращения массы тела в жидкость или, проще говоря, из-за гниения, это ясно каждому дураку. Для этого не нужно быть ни ученым, ни специалистом. А поскольку мне не хотелось, чтобы мое тело превращалось в жидкость, я, осознавая всю потенциально неоценимую значимость живой ткани, подписал разрешение использовать после моей смерти все то, что будет годно к употреблению, а все негодное в течение двух часов уничтожить в пламени крематория.

Разумеется, это должно будет произойти после моей смерти, но то, что происходит сейчас, невозможно назвать жизнью, хотя и смертью это тоже нельзя считать. О том, чем на самом деле является мое нынешнее состояние и что все это означает, можно было бы написать блестящую научную работу, за которую – одна за другой – присуждали бы серьезные научные премии. Однако ранее написание такого рода работы было преждевременным, а теперь – стало запоздалым, ведь мое положение изменилось настолько деликатным и радикальным образом, что даже я сам по-настоящему не знаю, что со мной случилось, и имею на этот счет чисто гипотетические объяснения.

Дело было так. Я направлялся на международный симпозиум со своим сугубо научным и вместе с тем провидческим, говоря без обиняков, гениальным докладом о лечении рака путем перепрограммирования матричных клеток. Приближение момента, когда я смогу обнародовать результаты исследований, которым посвятил не только карьеру, но и всю свою жизнь, смогу поделиться ими с научной общественностью, вызывало во мне необычайное волнение. Кроме меня, автора и изобретателя, свидетелем моего научного открытия были только лаборанты, пообещавшие соблюдать молчание до моего публичного выступления; один из них, ипохондрик, дал клятву, что, как только он вякнет по этому поводу хотя бы слово, здоровые клетки его тела сойдут с ума и начнут делиться как сумасшедшие; второй, прихожанин баптистской церкви, дал обет молчания, возложив правую руку на Новый Завет, переплетенный в черную кожу.

В научной среде скорость играет очень большую роль. Поскольку всем нам доступны одни и те же источники информации, а нейронные сети действуют везде

одинаково, может случиться, что ты уже довел свои исследования до конца. Обработка данных, полученных на лабораторных крысах, кроликах и – вполне возможно – человеческих тканях, подтвердила все твои предположения, единственное, чего тебе не хватает, – это обнародования тщательно скрываемых до поры до времени результатов, и вдруг неведомо откуда появляется кто-то с подобными, а иногда и с абсолютно такими же выводами и открытиями. И пуффф – старательно надутый воздушный шарик может мгновенно лопнуть, а вместе с ним могут в клочья разлететься и кануть в реку забвения годы и даже целые десятилетия фундаментальных экспериментов и анализов, бессонных ночей, последствием которых становится ослабление иммунной системы, ухудшение состояния здоровья, не говоря уже о семейных и партнерских конфликтах, являющихся побочными явлениями абсолютной преданности науке. И вот – твоя усталая научная голова уже склоняется, дабы на нее надели лавровый венок за эпохальное в истории цивилизации открытие, но тут внезапно тебя грубо отталкивает чей-то локоть, а рука его владельца нагло тянется к лаврам и прямо на твоих глазах водружает их на свою черепушку. Вот так ты навсегда становишься вторым, или, точнее сказать, побежденным, нулем, ничтожеством, имя которого – в лучшем случае – будет напечатано где-нибудь петитом. Признаюсь, я был очень амбициозен и карьера для меня всегда значила больше, чем семья, партнерство и все прочее. Лично мне карьеризм никогда не казался чем-то негативным; в конце концов, именно эта взаимосвязь между моей полной преданностью науке и так называемым пренебрежительным отношением к семье обеспечивала этой самой семье в высшей степени комфортную жизнь. Несомненно и то, что не будь таких амбициозных фантазеров, как я, люди бы и сегодня, вместо того чтобы передвигаться на автомобилях и самолетах, перепрыгивали с ветки на ветку, не говоря уже о наслаждении, которое доставляют научные открытия и которое – положи руку на сердце – является не менее сильным и гораздо более длительным, чем удовольствие от секса.

Управляя автомобилем и одновременно репетируя свое выступление перед виртуальной международной научной общественностью, я не заметил, что легкий морозящий дождь превратился в ливень, рефлекс, в соответствии с которым следовало сбросить скорость на довольно пустынной дороге, этот рефлекс тоже отказал. Поэтому в какой-то момент меня занесло вправо, потом влево, а затем стало швырять из стороны в сторону; из всего этого я запомнил только крутой поворот и пронзительный скрип тормозов, после чего картинка на моем жизненном экране исчезла и произошло самостоятельное переключение на другую программу. На этом новом канале появилась спираль ДНК, она тесно облепила меня со всех сторон и поволокла по тоннелю, в котором я в тисках генной змейки продвигался между громадными молекулярными протеинами и нуклеотидами, отступавшими перед толстым красно-желтым восьмигранным вирусом, проталкивался среди прожорливо прищипывающих метаболизирующих клеток; они делились и некоторые из них при этом умирали. Так было до тех пор, пока я не увидел в конце метафизической трубы дюжину гигантских клеток, громоздящихся друг на друге. Разумеется, это морулы, – осенило меня. В соответствии с этой логикой – начал я развивать свою мысль – я зажат в собственной змеевидной генетической спирали и сейчас пробиваюсь сквозь бластоцисту, из которой попаду в морулу, за чем должна последовать только огромная светящаяся частица с красноватой сердцевиной. Мне все стало абсолютно ясно – я возвращаюсь туда, откуда появился: не к богу, не к какому-то космическому свету

и чему-то подобному, но через морулу в зиготу, в оплодотворенную яйцеклетку, которая ждет меня, чтобы всосать в себя. А потом зигота разделится на женскую и мужскую половые клетки, и тогда моя жизнь закончится, меня попросту больше не будет. Вот так выглядит посмертная метафизика у биологов, – осенило меня, – для нас нет ни ангелов, ни богов, ни абстрактного мягкого света, мы, ученые-биологи, отправляемся в пустоту сквозь первичную клеточную ткань. Логично, – подумал я, – вполне приемлемо. Пусть те, кто верит в бога, разбираются с посмертной географией ада и рая или на промежуточной остановке временного небытия ожидают обещанного воскрешения из мертвых; пусть другие превращаются в людей, растения, животных или минералы; мы – биологи и все те, кто даже в страшные минуты своей жизни не поддался искушению, преклонив колени перед каким-нибудь божеством, вымаливать у него здоровье или жизнь и торговаться по поводу извлеченной из отчаяния трансцендентальности, – мы в отличие от них готовы деатомизироваться телесно и духовно и таким образом исчезнуть окончательно и бесповоротно.

Однако, к сожалению, все оказалось не так просто. Лебединая песня моего мыслительного процесса по мере продвижения по бластоцисте становилась все глуше, а праисточник бытия постепенно удалялся. Какая-то сила, пра-сила или что-то еще перед самым переходом из бластоцисты в морулу порывисто закружила меня и – теперь я это знаю, – размазав, прилепила к уже дифференцированной линии зародышевых клеток энтодермы, из которых развиваются внутренние органы. Иначе я не мог – логически рассуждая – оказаться на такой ступени существования. В этом неопределенном промежутке времени мое путешествие закончилось, и все охватила полная тьма, если можно говорить о тьме, ведь «тьма» – это только красочный синоним понятия «ничто», полного, абсолютного «ничто», в котором ничего нет, если попытаться обозначить нынешнюю фазу моего не то бытия, не то небытия, которое правильнее всего было бы назвать ино-бытием, если подойти к этому с философской точки зрения, ведь теперь у меня есть время для интеллектуальных размышлений подобного рода, над которыми я когда-то издевался и которые в глубине души презирал.

Я не видел никаких операций, никаких хирургов, склоняющихся над моим мертвым телом и шарящих по нему скальпелями, не видел, что кому-то пересаживают органы моего тела, еще пригодные к употреблению. В следующий раз сознание, точнее – самоосознание – ведь все свидетельствует о том, что от сознания у меня почти ничего не осталось, – это самоосознание включилось гораздо позже. Должно было пройти дней десять, но для меня они как бы не существовали. И вдруг внезапно – я это хорошо помню – я понял, что я в больнице и, скорее всего, лежу на кровати. Где я? – была мысль, первой появившаяся в моем сознании после его вторичной активизации. Судя по всему, со мной произошло несчастье, а с другой стороны, мне посчастливилось – ведь я, несомненно, остался в живых. Однако я тут же почувствовал, что ни о каком «посчастливилось» не может быть и речи, буквально в следующий момент меня охватил ужас, и я поспешил проверить состояние своих конечностей. И тут во мне впервые что-то всерьез надломилось. В этот момент я понял, что мое восприятие пространства значительно изменилось: хотя я и воспринимаю окружающую среду, однако угол зрения, под которым я ее вижу, отнюдь не является нормальным. Если я лежу на кровати, – рассуждал я, – то, открыв глаза, прежде всего должен увидеть стены или потолок. На самом деле все было иначе: мой взгляд – правильнее было бы

сказать – мое поле зрения искривлялось подобно тому, как – в моем представлении – искривляется пространство во вселенной. Прежде чем я попробовал повернуть голову и пошевелить руками и ногами, совсем рядом со мной раздался храп. И даже не рядом со мной, храп исходил из подозрительно близкого объекта, из чего я заключил, что в комнате – более конкретно – на кровати я нахожусь отнюдь не в одиночестве. И как я вскоре понял, теперь так и будет. Правда, свои руки и ноги я в какой-то мере ощущал, но почему-то я не мог ими пошевелить, вскоре мне стало ясно, почему, – да потому, что ни рук, ни ног, не говоря уж о голове, у меня вообще нет. Разумеется, это наводит страх, но, вероятно, скоро пройдет, – подумал я; в конце концов, чего только не испытывает человек, но далеко не все это соответствует действительности, кроме самого неврологического процесса, по непонятным причинам искажающего и уродующего наше восприятие. Но чтобы и я – с тех пор, как себя помню, я всегда свято верил в силу разума и удивлялся лености и неустойчивости тех, кого жизнь швыряет из стороны в сторону, словно море маленькое суденышко, – чтобы я оказался в состоянии, очень похожем на психоз, – нет, этого я не мог себе представить, этого я не ожидал. Это ощущение усилилось еще больше, когда в комнату вошла медсестра и направилась ко мне. Не знаю, насколько точным было это выражение «ко мне». Подойдя, она что-то делала с термометром, вскоре оказавшимся вне поля моего зрения. Кто я? Что я из себя представляю? – вертелся в моей голове все тот же вопрос, за ним последовали другие: «Как он вертится? В чьей голове? Где он возник? В качестве кого я все это слышу, осмысляю и наблюдаю?» – эти вопросы мучили меня, но тогда я не знал, что на них еще долго не будет ответа. К чему привязан мой мыслительный процесс и тем самым я сам, моя идентичность? К какой материальной основе? Меня охватили злоба и страх: какая к черту материальная основа, мать твою... но должна же она быть, ведь я не дух и не фантом... Для меня, научного работника, чьи останки превратились в некий научный феномен, все это было выше моих сил.

Сестра измерила температуру (это я заключил по электронному термометру, который она поднесла прямо к своему острому носу), сразу же вслед за этим в комнату вошли врачи. Наконец-то появляется спасение, ведь это мои коллеги, ученые, которые пришли ко мне, чтобы сообщить мне о моем состоянии, рассказать, что со мной и что меня ожидает... Разумеется, учеными их можно назвать с натяжкой, вероятно, это определение не очень-то применимо к сотрудникам клиники, которые со временем начинают лениться, занимаются одной лишь рутинной практикой и не очень интересуются наукой.

Между тем визитеры, обращаясь ко мне, называли совершенно незнакомые мне имя и фамилию. Хирург начал объяснять таинственному владельцу этих имени и фамилии, что операция прошла успешно и что его организм хорошо воспринимает новую печень. Вот тут-то я понял, в какую историю влип. Вероятно, после аварии от меня осталось сплошное месиво, что очень обрадовало трансплантологов, которые быстренько и без всяких сомнений констатировали смерть моего мозга, а то, что осталось невредимым, какое-то время поддерживали с помощью аппаратуры, дабы употребить эти органы для пересадки. Остальное – в соответствии с моими завещательными распоряжениями – передали в крематорий и, скорее всего, захоронили урну с прахом достойным образом. Печень (как минимум печень) пересадили мужчине, в теле которого я сейчас и нахожусь в статусе его нового органа.

Вместо «нахожусь» можно сказать «живу», в какой-то мере это будет правильно, только разве это жизнь?! Я стал задаваться этим вопросом, когда мы вместе с моим владельцем через несколько дней вернулись домой. Надо сказать, что еще до аварии, то есть в своей настоящей жизни, обладая здоровым полноценным телом, я слышал от хирургов о том, что после трансплантации органов к ним иногда заявляются пациенты и долго ходят вокруг да около, пока, наконец, не выдавят из себя вопрос, дескать, не думаете ли вы, что в пересаженном органе сохраняются какие-то воспоминания донора, поскольку им, реципиентам, кажется, что в них живет еще кто-то, что у них изменились пристрастия, что они – в прошлом рьяные болельщики – после операции стали абсолютно равнодушны к футболу, что их так и тянет сесть за рояль и сыграть какую-то пьесу, хотя о музыке они не имеют ни малейшего понятия? Нет, это невозможно, – в соответствии с научной доктриной отвечают им специалисты и тут же добавляют, что вместо того чтобы задавать лишние вопросы, им нужно радоваться приобретению нового органа и связанной с этим новой жизни, означающей для них второе рождение; если они будут выполнять все рекомендации врача, то будут жить очень хорошо, а если повезет – то и долго. Что другое они могли им сказать? Ведь у них никогда не было возможности дискутировать с интеллектом, поселившимся в отдельном органе, ведь, судя по моим впечатлениям, меня тоже никто не слышит, хотя мне кажется, что мои монологи по громкости ничуть не уступают тем, которые я произносил в автомобиле, готовясь к презентации.

Теперь я знаю, что, соглашаясь на использование моих органов, я должен был сформулировать свои требования по отношению к их получателю, только какой от этого прок? Теперь мне не остается ничего другого, как только засунуть этот самый документ вместе с прилагающимся к нему формуляром себе в задницу. Разумеется, это было бы неплохо, если бы у меня была задница, но ведь у меня ее нет! Ведь тот, в кого меня пересадили, то есть пересадили мою печень, и тем самым и меня, является для меня, моего образа жизни и моего мировоззрения – ведь оно у меня сохранилось – оскорбительным и совершенно неприемлемым.

Меня пересадили абсолютному кретину, который с утра до вечера слоняется по квартире в шлепанцах, пялится в телевизор и несет вздор, невыносимый для моего ученого ума. Когда он по телефону рассказывает собеседнику о своем самочувствии и методах трансплантации, мне хочется стереть его в порошок, ведь у него нет ни малейшего понятия об основах биологии и медицины, а научные термины вылетают из его рта, как катышки помета из засранной задницы осла!

В такие минуты человек, даже такой как я – жалкие остатки человека, – понимает, насколько различны люди и как лениво мышление некоторых из них. Квартира, в которой он живет вместе с женой, ну да, в которой мы все вместе живем, – отнюдь не скромная, на еде они тоже не экономят, я это знаю, поскольку мне в качестве его печени приходится на пару с иммуносупрессивными препаратами перерабатывать поглощаемые им продукты. Он мог бы, по крайней мере сейчас, после операции, когда в его распоряжении целых двадцать четыре часа в сутки, прочесть хоть что-нибудь. Но нет, болван валяется на диване, и мы вместе смотрим какие-то программы, о существовании которых я вообще не подозревал. Этот тип, судя по всему, помешался на религиозной почве или как минимум – рассчитывает на помощь религии. Дело в том, что он верит, что за все произошедшее должен быть благодарен богу, поэтому мы ежедневно смотрим религиозные программы, во время которых участвующие в них маньяки орут во все горло, размахивая крестами и микрофонами. Он убежден в

том, будто бог услышал его молитвы и поэтому своевременно достал для него новую здоровую печень. Неужели же ты, тупой эгоист, не понимаешь, – частенько думаю я, – что твоя просьба – дорогой Господь, молю тебя, достань мне новую печень, – что эта просьба содержала в себе невысказанную просьбу об убийстве, которую можно было бы озвучить следующим образом: поскольку пока мы не умеем выращивать печенки, как огурцы, нижайше прошу тебя, Господь, пусть кто-нибудь умрет, чтобы я остался в живых. Ибо, если действительно существует нечто, подобное богу, ежедневно выслушивающему просьбы своих созданий и исполняющему их желания, тогда этот тип и его бог фактически убили меня! Гнусные спекулянты!

Жена выслушивает его и ухаживает за ним с непонятным мне милосердием, а он считает ее заботы чем-то само собой разумеющимся, но в ее самопожертвовании мне видится какой-то идиотский способ извлечения удовольствия. Как мне удалось понять из его жалоб, причиной гибели его печени стал гепатит С, который он – по крайней мере он так излагает это всем и каждому – подцепил десять лет назад при переливании крови. Жена – еще большая дура, чем он, – верит этому, вместо того чтобы сесть за компьютер, набрать в Google «переливание крови» и легко и быстро узнать, что во всех цивилизованных странах нашей планеты с 1993 года производится тестирование всей донорской крови. Половых контактов с ней у нас нет, зато когда мы с ним остаемся вдвоем, он проявляет неподдельный интерес к сценам, в которых герой обрабатывает какого-нибудь толстозадого негра, а вот при появлении на экране крупного плана вагины хозяин моей печени тут же переключает программу...

Человек не выбирает не только родителей, но и – как мне теперь известно – реципиентов своих органов. Время жизни после успешно проведенной трансплантации при соблюдении рекомендованного врачами режима может растянуться на долгие годы, и при одной только мысли о том, что отныне я осужден на существование в теле этого идиота, в этой тюрьме строгого режима без какой бы то ни было перспективы освобождения из нее, не говоря уж об амнистии, при мысли о том, что я буду – судя по всему – до самой его смерти или до новой пересадки печени – бесконечно выслушивать его идиотские ворчливые монологи, у меня – разумеется, метафорически – подступает к горлу тошнота.

На прогулку мы выходим редко, ибо он, лентяй, почти не вылезает из квартиры, а если периодически выходим на балкон, то курим, прислонившись к ограде, и наблюдаем за подростками в пропотевших майках, гоняющими во дворе мяч. Мать твою, – подумал я как-то во время такого перекура, – это происходит со мной. Никогда до этого не курившим! А ведь несколько лет назад я сдал на хранение свою сперму, которая, скорее всего, находится в состоянии глубокой заморозки, то есть интеллектуально и физически пассивна. Но ведь остается надежда, что появится какая-нибудь кандидатка на искусственное оплодотворение, и тогда мою сперму разморозят и – если моя гипотеза верна – место для моего сознания найдется и в этих клетках, так что я смогу переселиться в них из печени. Если только – я содрогаюсь от ужаса – судьба не преподнесет мне очередной необычный сюрприз и мое сознание – автономно и суверенно – не активизируется и в моей сперме и тогда начнется посмертный спор между двумя носителями моей духовности. Вероятно, существует и такая возможность? Понятия не имею... вообще не представляю, что по этому поводу надо думать... В конце концов у меня все перемешается... вот только не в голове, а черт знает в чем и как!

Если же моя гипотеза не работает и мое сознание, моя идентичность и все прочие личностные прибамбасы сконцентрированы в моей печени, тогда я могу рассчитывать на другой вариант – мне нужно каким-то образом установить контакт с пятой спицей в колеснице биологической материи; придется полностью погрузиться в себя на клеточном уровне, погрузиться как ученому в собственные научные открытия (мне очень интересно, какая озабоченная карьерой гиена присвоила их и теперь хвастается ими на симпозиумах?) и использовать их в обратном направлении, так, как это ежедневно рутинно совершает природа. Следовательно, мне надо подговорить какую-либо амбициозную матричную клетку на веки вечные остаться молодой и безостановочно делиться, перепрограммировать ее так, чтобы эта тупая корова мутировала и превратилась в матричную раковую клетку, которая в конце концов и угробит этого типа. Кроме того, существует и другая возможность: усовершенствовать технику отторжения иммуносупрессивных препаратов, вследствие чего у мужика начнется заражение, которое и сведет его в могилу. Но потом меня осеняет – а что если это еще не все и нынешняя форма моего посмертного существования – это всего лишь один из вариантов человеческого бытия и что на самом деле существует такая идиотская вещь, как карма? Не будет ли это означать, что такими поступками – самоубийством и вызванным им убийством – я влияю на свою карму и настолько ухудшаю ее, что в следующей жизни, точнее в одном из ее вариантов, я имею шанс превратиться в клетку, из которой разовьется вагина, чья обладательница в весьма юном возрасте займется дешевой проституцией, в результате чего в меня ежедневно будут вторгаться десятки членов, не соответствующих требованиям гигиены и здорового образа жизни. Или я превращусь, например, в слизистую оболочку рта какого-нибудь продажного политика или слюнявого адвоката – людей, к которым в своей прежней жизни испытывал абсолютное презрение. Иногда, в минуты крайнего отчаяния, у меня возникают еще две мысли: первая о том, что пережитая физически авария привела к таким нарушениям, из-за которых меня как овощ держат в психушке закрытого типа, где я ожидаю выхода из этого состояния, в то время как в глубине неповрежденного мозга протекают все названные выше мыслительные процессы. Существует также сценарий А, может быть, даже Б, пожалуй, еще и В... витальности и креативности во мне всегда было предостаточно... Так вот по одному из этих сценариев в данный момент я нахожусь в глубокой коме, из которой когда-нибудь выйду, и потом все снова будет – в большей или меньшей степени – в порядке. Когда-то я высмеивал утверждение: надежда умирает последней. Нет, – возражал я подобным умникам, – надежда умирает предпоследней, в самом конце, совсем последним умирает тот, кто надеялся. А вот теперь я вижу, что они правы. У меня, того, кто формально мертв и фактически существует в виде обладающей сознанием печени, у меня не осталось ничего, кроме надежды, ибо все остальное, похоже, либо сдохло, либо является абсолютно нефункциональным.

Откуда мне знать, что такое жизнь и что такое смерть. Как ни поверни и как ни посмотри – закрыть глаза я, естественно, не в состоянии, спать – тоже; сейчас я могу констатировать только одно: конца нет и в помине.

Перевод Марианны Бершадской

